



ВЛАДИМИР ОДОЕВСКИЙ

ЧЕРНАЯ
ПЕРЧАТКА

LIKE
BOOK

МОСКВА

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
О-44

Иллюстрация на переплете *вереск*

Художественное оформление *Радия Фахрутдинова*

Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации:

© Creative Stall, kersonyanovicha, RODINA OLENA /
Shutterstock.com / FOTODOM

Используется по лицензии от Shutterstock.com / FOTODOM

Одоевский, Владимир Федорович.

О-44 Черная перчатка : сборник страшных рассказов / Владимир Одоевский. — Москва : Эксмо, 2026. — 256 с.

ISBN 978-5-04-225760-5

Сборник мистических и фантастических рассказов В. Ф. Одоевского, писателя и критика, современника А. С. Пушкина.

В них художник ищет истину в безумии, ребенок играет с призраком, а честь и долг сводят человека с ума и толкают к краю бездны.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-225760-5

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026



ЖИВОПИСЕЦ

(Из записок гробовщика)

Однажды, когда я сидел у Мартына Григорьича, вошел мастеровой:

- Пришли от Даниила Петровича.
- Зачем? — спросил хозяин.
- Да за гробом.
- Кто у них умер, уж не жена ли?
- Нет, Даниила Петрович сам изволил скончаться...

Мартын Григорьевич всплеснул руками:

- Может ли это быть? Бедный! Давно ли мы с ним виделись?.. Такой талант! Такое сердце!
- Просят дощатого гроба подешевле, а у нас такого нет, — прервал его хладнокровно работник.

— Неси какой есть готовый, не твое дело... Бедный, бедный Даниила Петрович!.. — С сими словами он взял шляпу и сказал мне: — Хотите ли поклониться праху незнакомого вам, но за-

мечательного человека? Пойдемте со мною. Вы слыхали о Шуйском?..

— Никогда, — отвечал я, — но я готов идти с вами.

— Так! Участь этого человека быть неизвестным; но, по крайней мере, он начнет жить после смерти; может быть, мне суждено быть его проводником к бессмертию. Неужели и вы не знаете, что мой бедный неизвестный Данила Петрович был, может быть, одним из первых живописцев нашего времени?..

— Я никогда не видал ни одной его картины...

— Не мудрено, потому что у него не было ни одной конченой; но пойдем в его мастерскую, и вы уверитесь, что я говорю правду. Я недавно с ним познакомился; он был очень, очень беден, но все, что скрывалось в его голове, все, что нечаянно он бросил на полотно нетерпеливою кисти, того я вам пересказать не сумею... Вы сами увидите...

Мы вошли. Грустно было смотреть на мастерскую бедного художника. Бледный труп его лежал на простых досках; на лице его еще остались следы внутреннего, недавно погасшего огня; черные волосы лентами струились с прекрасно образованной головы; но все было искажено, запятнано смертию; его покрывало едва держаще-

еся рубище; вокруг были разбросанные краски, палитра, кисти; на огромной раме натянутое полотно; оно невольно приковало мое внимание; но на холсте не было картины, или, лучше сказать, на нем были сотни картин; можно было различить некоторые подробности, начертанные верною, живою кистью, но ничего целого, ничего понятного. От нетерпения ли художника, от недостатка ли в холсте, но видно было, что он рисовал одну картину на другой; полуслепая голова фавна выглядывала из-за готической церкви; на теньеровском костюме наброшана фигура мадонны; сметливый глаз русского крестьянина был рядом с египетскою пирамидою; водопады, домашняя утварь, дикие взоры сражающихся, цветы, кони, атласные мантии, уличные сцены, кедры, греческие профили, карикатуры — все это было перемешано между собою на различных планах, в различных колоритах, и углем, и мелом, и красками, — и ни в чем не только нельзя было угадать мысли художника, но с большим трудом можно даже было уловить какую-либо подробность. Стены, окна мастерской, палитра, мебели были испещрены точно такими же очерками... других картин не было. Наши изыскания были прерваны разговором в ближней комнате, сперва тихим, но потом мало-помалу возвышавшимся...

— Ах, не говорите, матушка, — повторял один женский голос, рыдая, — я, я убила его!..

— Полно, полно! Что с тобой? — отвечал другая, женский же голос. — Что ты на себя клепаешь! Полно, полно горевать. Еще молода, мать моя, другого мужа найдешь.

— Нет, не нажить мне моего Данила Петровича!

— Полно, говорят тебе, слезами не поможешь, да и что правду сказать: счастлива, что ли, ты с ним была? В довольстве, что ли? Что в немпути-то было?..

Вдова не слушала, а только повторяла свое:

— Я убила его; он сам говорил, сердечный: ты убьешь меня... Я точно убила его!..

А та отвечала:

— Полно на себя клепать! Он просто занемог, да и умер...

Эта сцена продолжалась довольно долго: жалобы с одной стороны, утешения с другой; наконец последние превозмогли; казалось, рассуждения собеседницы утешили вдову, по крайней мере, она успокоилась. Мой товарищ хотел наведаться к ней; но дверь отворилась, и от вдовы вышла женщина пожилых лет, в крепко накрахмаленном чепце, с веселым и добродушным видом.

— Ах, это ты, куманек! Добро пожаловать; а что, ты к ней, что ли? Ну, уж лучше не ходи —

пусть ее наплачется досыта; авось-либо, Бог милостив, поплачет, поплачет, да и перестанет; а денька через два-три как рукой снимет. Помоги-ка мне лучше отдать последний долг покойному. Сердечный! Сердечный! — прибавила она, посмотрев на бледное, искаженное страданиями лицо молодого художника. — Не умел жить на сем свете. А это кто, батюшка? — продолжала она, взглянув на меня с любопытною улыбкою, которая не мешала ей отирать слезы...

— Это мой подмастерье, — отвечал Мартын Григорьевич.

Я поклонился.

— Никогда еще у тебя не видала, почтенный...

— Недавно поступил, Марфа Андреевна.

Она взглянула на меня с тоном покровительства и продолжала свой разговор. Во все время печальной церемонии и потом, возвращаясь к себе домой, куда мы, перемигнувшись, пошли ее проводить, Марфа Андреевна говорила без умолка; из слов ее я узнал, что она богатая мещанка и занимается скорняжеством, то есть шьет шубы. Мы скоро познакомились; я ей полюбился, она мне рассказала всю жизнь живописца; некоторые ее фразы уцелели в моей памяти; постараюсь передать их, как умею.

— Так вы, Марфа Андреевна, хорошо знавали Даниила Петровича? — спросил я...

— Эка, батюшка, видно, ты молод, уж мне не знать Данила Петровича! Не только его, да и с батюшкой его хлеб-соль воживала, да и бабушку-то его знаяла — такая была из себя видная, здоровая, — помнишь, бывало, торговала в Бабьем ряду... да где тебе помнить! Ах, горемычный, горемычный Данила Петрович! Верно уж ему так было на роду написано. Да и то правду сказать, всегда беспутный был; а кто виноват? Отец баловал. Отец был зажиточный человек, в Панском ряду на сотни тысяч торговал, вот и Мартын Григорьевич его знаял. Он, бывало, сына в ряд, а тот и руками и ногами: «Пусти, батюшка, в живописцы, пусти, да и только»; а старик-то сгупа, чем бы его себе приготовить в подмогу, послушался да и отдал в ученье к какому-то немецкому живописцу; да, бывало, еще шутит покойник: «Хошма, говорит, у меня теперь вывеска на лавке будет даровая». Не дождался он вывески от сына, а только обанкротился да с горя и Богу душу отдал. А сынок-то остался гол как сокол, а себе и ухом не ведет; да туда же спесив: жил, жил у немецкого живописца на квартире на всем готовом, одет, обут, да низко показалось, не ужился; виши ты, жаловался, будто немецкий живописец — не припомню его имени, прах его возьми — заставлял его на своих

картинах рисовать, его работу за свою выдавал, а его начал с пути сбивать. Да! важное дело! Да если бы и так, то что за беда. Известное дело — мастерство: молодой человек сперва на других поработай, а там на себя. Вот и ты у Мартына Григорьича живешь, неужели ты станешь ему указывать: «Вот эту доску я состругал, вот этот винт я привернул, а не ты...» Говорю тебе, со- всем беспутный был. Прибежал ко мне, с три короба наговорил, и все свысока. Я ничего не поняла: «И что я-де теперь, матушка Марфа Андреевна, буду на воле работать, на себя, и вся публика-то, все господство-то меня узнает, и картину на выставку-то поставлю, золотом-то я все сундуки отцовские засыплю... и я-то буду худошник». Сердце мое чуяло недоброе: «И впрямь ты будешь худошником», — сказала я ему, смеясь, а он рассердился: вишь, будто я не могла и понять-то его! Я было, чтобы помириться, ему 10 цековиков в руку, а он на стол их бряк — так разгорячился, мой батюшка; только и твердит: «У меня талан, у меня талан». Ну, подумала, посмотрим, какой тебе талан на роду написан: не увидим, так услышим.

Вот обзавелся он, горемышный; где-то лачужку сыскал на Выборжской стороне и написал вывеску: «Живописец Шумский»; так и думал, что вся публика к нему разом и соберется.

Не тут-то было: где-где придет к нему какой-нибудь сиделец-выскочка вывеску написать.

Только он еще кое-как перебивался. Но как на беду попадись ему на улице смазливая девушка. Слово за слово, ну приставать: «Поди ко мне мадели делать». Та ему в ответ: «Я-де, батюшка, только на кухне кое-что стряпать умею, а никаких маделей никогда не делывала». — «Нужды нет, уж я тебя выучу». Девке только что отказали от дома, деваться ей было некуда — из одной квартеры к нему пошла.

Вот что же, батюшка! Привел он ее к себе, да и ну с нее портреты рисовать — очень нужно кому! Да еще какой, слышь, бесстыдник: и так ее поставит, и сяк; то руку поднимет, то опустит; впрочем, говорят, так по их искусству надобно! — это дело не мое, кто их знает... Как бы то ни было, но только он писал, писал ее, да и вышел грех; вестимо дело: он парень молодой, она девка смазливая, дошло до того, что уж ей стыдно было в люди показаться. Он, ничего сказать, человек был честный, покойник, говорит: «Мой грех, мне и поправить». Вот они женились; живут, друг другом не нахвалятся; она девка умная, хозяйство завела; пожили немного — глядь, то хлебник, то мясник за долгом придет, то хозяин за квартиру просит, а кошельто пуст-пустехонек. Бедная баба и туда и сюда,

как бы работу сыскать, а он, покойник, не тем будь помянут, и ухом не ведет. На его счастье Сидор Иванович дочь замуж отдавал — купец богатый, почтенный, хотел все дело по порядку исполнить, приданое приданым, а к тому же захотел с дочери да с зятя портреты повесить у себя на дому. Позвал Данилу Петровича, говорит: «Вот тебе сто рублей, а как патреты напишешь, так еще сто рублей дам, только схоже напиши». А Данило Петрович ему: «Уж это-де мое дело, так-де напишу, что от настоящего не узнаешь». Вот Сидор Иванович — купец богатый, вестимо дело, хотел похвастать — надел на свою Дунюшку и бриллиантов, и жемчугов, и подборов, и подвесок, не только матушкиных, но что и от бабушки да прабабушки досталось, чтобы, дескать, все видели, что не нищую замуж выдаст; как вошла, так индо в комнате засветлело, даже Данило Петрович осталбенел. «Ну, — говорит отец, — рисуй, как знаешь; но только так, чтоб подвески спереди, да и гребень сзади был виден». Что же Данило Петрович — ах, беспутная головушка! — как закричит себе: «Что это вы красавицу изуродовали! Она молода и свежа и собой хороша, что ее, как коломенскую куклу, мишурой-то убирать?» А какая мишуря: все жемчуг да бриллианты... «Долой, — говорит Данило Петрович, — и подборы, и подвески, и гребень,

все-де это портит ее натуру», — да как распустит ей косы по плечам, и стала Дуняша словно русалка, а Данило-то храбрится: «Вот уже, — говорит, — патрет напишу, так всему свету на удивление будет». Только стариk не тех мыслей был. «Нет, — говорит, — не дам над моим детищем издеваться, не на смех ее писать, словно какую актерку трепаную, а видно ты, Данило Петрович, своего дела не разумеешь, коли жемчугов да бриллиантов не можешь списать; хоть одного зятя мне напиши».

Данило Петрович прикусил язычок. «Ну, давай, — говорит, — зятя». Привели зятя; надо тебе знать, что зять был человек чиновный, копиистом служил; ну, разумеется, также похвастаться хочет, принарядился, праздничный мундир надел. Данило Петрович и руками, и ногами: «Не умею мундиров писать!» — стал на том, да и только. Тут уже купец рассердился да и сказал Данилу Петровичу: «Ступай же, — сказал он, — куда знаешь, коли своего дела не разумеешь, а мы тебе не пешки дались». А Данило-то, чем бы спасовать, выкинул на стол сто рублей, да и поминай как звали. Так и не впервые было. Что ему ни закажут, все перехитрит, к стене не прислонишь; меж тем дома холодно и голодно. А Данило, чем бы горю помочь, сидит у себя в нетопленной комнате, мажет по холсту каких-

то нехристей да песенки попевает. Вот, немного погодя, на него стало находить: бродит, бродит день-деньской да и уставится против старой стены, смотрит на нее то с той, то с другой стороны — виши ты, представлялись ему какие-то фигуры на стене; соседи узнают, домой приведут, а он свечку зажжет да всю ночь и мараet по стенам — индо смотреть страшно — все стены испортил. Вот жена к нему придет: «Полно, Данило Петрович, свечки-то палить; мало тебе дня? Ведь свечка-то гривну стоит». А он осерчает, закричит: «Ты убьешь меня», — да и только. С таким изделием немного наживешь; вот он, сердечный, не ест, не пьет, только и твердит: «Вот погоди, найду, непременно найду». Чего уже он, клада, что ли, искал, не могу тебе сказать, только он со дня на день худал; что ночью намажет, то днем сотрет; в дом ничего, а из дома то и дело то мебель, то платье продаст. Жена его станет резонить, а он только и твердит: «Ты убьешь меня». Поди толкуй с ним! Так они пожили немного — недолго — не осталось в доме ни синего пороха. Видит, нечего делать — поугомонился, пошел по гостиному ряду спрашививать: нет ли где вывески подновить? Насилу поверили, таким он безумным казался. Подновил вывески дветри, другой работой забрался — зашиб копейку, и опять гордость напала. Раз вот осенью ушел